

П

ри чтении горьковской книги рассказов «По Руси» остро чувствуешь ее оригинальность. Но в чем она? В том, что перед твоими глазами проходят образы множества своеобразных людей — безунывных и потерянных, дерзких и смиренных, сильных и безвольных? Пожалуй, нет. Неповторимы герои и в «Мертвых душах» Гоголя, и в тургеневских «Записках охотника», и в «острожной книге» Достоевского, и в рассказах Толстого, Чехова... Чем же отличается сборник Горького от произведений его великих предшественников? Мне кажется, прежде всего, в горьковских рассказах ощущается неповторимая романтическая прелесть повествования? Несмотря на то, что герои писателя — это люди из низов, рассказы о них захватывают особенной, благоухающей, часто возвышенной речью.

Откройте первую же новеллу — «Рождение человека». Какие строки ждут вас:

«Осенью на Кавказе — точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы — они же всегда и великие грешники, — построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое, необъятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у туркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и все — снесли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

— Твое — от Твоих — Тебе.

...Я вижу, как длиннородые седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их — живую тканью многообразных деревьев, и — безумно-красивым становится под их руками этот кусок благодатной земли. Превосходная должность — быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред красотой!»

Позже Горький подробно рассказал о природе своего романтизма. «В романтизме, — утверждал он, — необходимо различать... два, резко различных направления: пассивный романтизм — он пытается или примирить человека с действительностью, прикрашивая ее, или же отвлечь от действительности к бесплодному углублению в свой внутренний мир, к мыслям о «роковых загадках жизни», о любви, о смерти... Активный романтизм стремится усилить волю человека к жизни, возбудить в нем мятеж против действительности, против всякого гнета ее...

...в нашей литературе не было и нет еще романтизма как проповеди активного отношения к действительности, как проповеди труда и воспитания воли к жизни, как пафоса строительства новых ее форм и как ненависти к старому миру, злое наследие которого изживается нами с таким трудом и так мучительно...

И если уж надобно говорить о «священном», — так священо только недовольство человека самим собою и его стремление быть лучше, чем он есть; священна его ненависть ко всякому житейскому хламу, созданному им же самим; священно его желание уничтожить на земле зависть, жадность, преступления, болезни, войны и всякую вражду среди людей, священен его труд».

Романтизм автора сборника «По Руси» — от избытка духовных и физических сил, от молодой любви к огромному, зовущему, неведомому миру. Буйная природа, лазурное море, промытое праздничное небо — все говорит о красоте земли. Но восхищение ее красотой часто оказывается перечеркнутым неустроенностью, бездомностью и неприкаянностью людей, с которыми встречается рассказчик.

Это несоответствие жизни природы и жизни человека, их неслияние, разлад постоянно отравляют душу, и, может быть, они-то и составляют главное мучительное чувство всей книги, ее неразрешимый горький вопрос. Природа ежедневно, независимо от времени года, справляет праздник; человек постоянно угнетен несовершенством своего существования и своей души:

«В бурные осенние дни на берегу моря как-то особенно весело и бодро: песни ветра и волн, быстрый бег облаков, и в синих провалах неба купается солнце, как увядающий чудесный цветок, — в этом видимом хаосе чувствуешь скрытую гармонию нетленных сил земли — маленькое человеческое сердце объято мятежным пламенем и, сгорая, кричит миру:

— Я тебя люблю! Страшно хочется жить, — так жить, чтоб смеялись старые камни и белые кони моря еще выше вставали бы на дыбы; хочется петь хвалебную песню земле, чтоб она, отъевшись от похвал, еще более щедро развернула богатства свои, показала бы красоту свою, возбужденная любовью одного из своих созданий — человека, который любит землю, как женщину, и охвачен желанием оплодотворить ее новою красотой.

Но слова тяжелы, точно камни, убивая фантазию, они ложатся над трупом ее серым холмом, — смотришь на себя пред этой могилой и смеешься над собою».

* * *

Странный, на первый взгляд, замысел этой книги оригинален по существу.

Сорокапятилетний писатель рассказывает о своих давних скитаниях по Руси, о том, как он, молодой, жадный на впечатления жизни, жаждущий понять смысл бытия, — как он постигает неприветливый, жестокий и притягательный мир. Он говорит о своих

открытиях и разочарованиях тех дней, но — словами уже пожившего, опытного человека, из иного времени. В этом нет никакого неудобства для читателя и автора. Впечатления прошли отбор временем; в памяти остались лишь самобытные герои; оценки людей и событий определились точнее; осмысление увиденного и пережитого стало более зрелым.

Рассказчик в книге «По Руси» вовсе не искатель легкой жизни. Он любит работать, многое умеет; а в странствия его толкнуло стремление лучше узнать родину. В любой истории, увиденной широко открытыми на мир, удивленными и все схватывающими глазами, проявляется чистое и горячее сердце, отзывчивая душа, пылкий ум. В рассказе «Ледоход» он, пятнадцатилетний подрядчик, обязанность которого выдавать артели плотников доски и гвозди, искренне признается:

«Я очень внимательно присматриваюсь к людям, мне думается, что каждый человек должен возвести и возводит меня к познанию этой непонятной, запутанной, обидной жизни, и у меня есть свой беспокойный, неумолкающий вопрос:

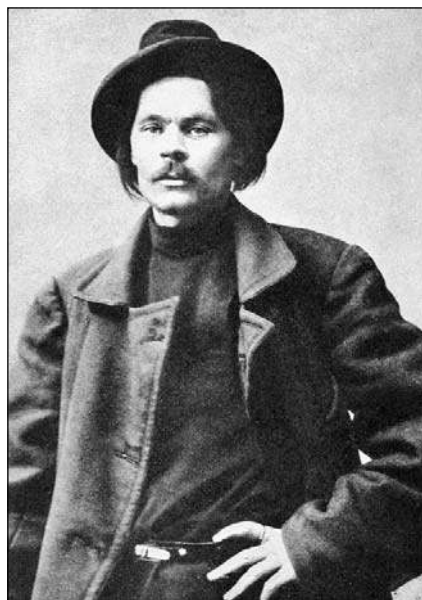
«Что такое человечья душа?»

Мне кажется, что иные души построены, как медные шары: укрепленные неподвижно в груди, они отражают все, что касается их, одной своей точкой, — отражают неправильно, уродливо и скучно. Есть души плоские, как зеркала, — это все равно как будто нет их. А в большинстве своем человечьи души кажутся мне бесформенными, как облака, и мутно-пестрыми, точно лживый камень опал, — они всегда податливо изменяются, сообразно цвету того, что коснется их».

Вот этот-то юноша, которому все человечьи души кажутся бесформенными и мутно-пестрыми, как лживый камень опал, вместе с читателем и открывает мир русских людей — сначала недоверчиво, ошибаясь, проверяя свои впечатления от них, и все более и более привязываясь к ним, постигая их жизнь и, наконец, жалея и любя их за такую же, как его собственная, неприкаянную и благословенную судьбу на неприканной и чудесной земле отечества.

В «Ледоходе», который я назвал закоперщиком опасного перехода артели по весеннему волжскому льду, был староста (т.е. по-теперешнему, видимо, бригадир) Осип, маленький, елейный, говорливый. Артель его недолюбливала, не уважала и терпела, может быть, единственно за его небывальщины. И рассказчик недолюбливал его, а вот поди ж ты — замороженно любовался его смелым, решительным, ловким переходом через опасную реку во главе плотников. И когда этот неказистый мужичонка уверенно сказал: «А душа человечья — крылата, во сне она летает...», — это сразу осветило для подростка все вокруг волшебным светом, в котором и Осип, и жизнь вокруг показались иными. Выходило, что в любом человеке могут оказаться русская бесшабашность, жажда какой-то высоты, подвига.

А в рассказе «Губин» — другого типа человек, местечковый правдоискатель, который ищет правду не подлинную, коренную, а мелкую, бытовую, высматривая ее иногда в замочную скважину. Ему, например, хочется обнародовать тайну, которую он случайно открыл: жена богача Биркина ночами ходит к любовнику. Причем у этого прав-



Максим Горький

доискала есть своя теория: « — Я, брат, людям доброжелатель... ежели я вижу где промежду них злобу или лживость какую — я всегда обязан это вскрыть — наголо! Людей надобно учить: живите правдой, дряни...»

В рассказе «Кладбище» является еще один необычный герой — старый поручик в отставке Савва Хорват. Этот возмущен тем, что надгробные надписи сухо передают только имена и годы жизни умерших; ничего нельзя узнать о достойных делах людей, завершивших земной путь.

« — *Вслушайтесь: клад-би-ще! А?*

Он толкнул меня плечом и объяснил, понизив голос:

— Клады бы искать надо здесь! Клады разума, сокровища поучений. А что я нахожу-с? Обида и позор. Всем — обида! «Все в житии крест яко ярем взялиши» обижены нами, и за это будете обижены вы, буду обижен я. Поймите: «крест яко ярем» — а? Значит, признано, что жизнь — трудна и тяжела? Почтите же достойно отживших — они ради вас несли при жизни бремя и ярем, — ради вас! А эти, там, не понимают!..

Надув красные щеки, пошевелив усами, искоса поглядывая на меня молодым глазом, поручик продолжал:

— Вы думаете: полуумный старик, не более того? Нет, молодой человек, нет-с! Пред вами человек, который оценил жизнь. Посмотрите, разве это памятники? Что они напоминают вам и мне? Ничего. Это не памятники, а — паспорта, свидетельства, выданные человеческой глупостью самой себе. Под сим крестом — Марья, под сим — Дарья, Алексей, Евсей, все — рабы божии и — никаких особых примет! Это — безобразие, здесь людей, отживших трудную жизнь, лишили прижизненного образа, а его необходимо сохранить в поучение мне и вам. Образ жизни всякого человека — поучителен; могила часто интереснее романа, да-с! Вы — понимаете меня?..»

Горького нередко упрекали в том, что его герои — «ходячие выразители авторских мыслей»; они-де резонерствуют по всякому поводу, и все их монологи — не собственные их мысли, а рассуждения автора. Но такой упрек можно адресовать чуть ли не каждому писателю. К примеру, толстовский Нехлюдов, осматривая свое имение и толкуя с крестьянами, остро сознает несправедливость частного и безраздельного владения землей помещиками — и разве это не мысли самого писателя, твердившего о том же и в публицистических произведениях, и в своем дневнике? Дело, конечно, не в том, что какие-то близкие автору персонажи его произведений передают сокровенные мысли писателя. Важна органичность, естественность образа героя, его живые, личностные черты, делающие человека неповторимым. А герои сборника «По Руси» как раз неповторимо самобытны.

Обладая особенным взглядом на жизнь, они пытаются дойти до сути явления. Вот и старик Хорват доводит свои размышления до вывода «всеобщего» и, по его мнению, бесспорного:

« — *У нас, на Руси, никто не знает, зачем он. Родился, жил, помер — как все! Но — зачем?.. Представьте, что каждый город, село, каждое скопление людей ведет запись делам своим, так сказать «Книгу живота», — не сухой перечень результатов работы, а живой рассказ о прижизненных деяниях каждого человека, а? Но — без чиновников! Пишет городская дума, волостное правление, специальная «Управа жизни», — я не знаю кто, только — без чиновников! И — пишется все! Все, что необходимо знать о человеке, который жил с нами и отошел от нас!.. Например: некто сложил печь, особенно спорую на тепло, — запишите-с!.. Выстроил школу, замостил грязную улицу, первый научился хорошо ковать лошадей, всю жизнь боролся словом и делом с неправдой — запи-ши-те! Женщина родила пятнадцать человек здоровых детей, — а! — это очень нужно записать: это великое дело — дать земле здоровых детей!*

И, тыкая пальцем в серый намогильный камень со стертой надписью, он почти закричал:

— Под сим камнем погребено тело человека, всю жизнь свою любившего одну жен-

щину — одну! — это нужно записать! Мне не нужно имен, — мне нужны дела! Я хочу, должен знать жизнь и работу людей. Когда отошел человек — напишите на кресте его могилы — «крест яко ярем», это надо помнить! — напишите для меня, для жизни подробно и ясно все его дела! Зачем он жил? Крупно напишите, понятно, — так?

— Да.

Поручик продолжал горячо, захлебываясь словами, махая рукою вдаль, на город:

— Они там — лгуны, они нарочно скрывают работу, чтоб обесценить человека, показать нам ничтожество мертвых и тем внушить живым сознание их ничтожества! Ничтожными легче править, — это придумано дьявольски умно! Да, конечно, легче! Но — вот я: попробуйте, заставьте-ка меня сделать то, чего я не хочу!

Брезгливо сморщив лицо, он точно выстрелил:

— Ап-параты!»

Не правда ли, не каждый будет носиться с такой мыслью и не каждый додумает ее до глубины. И мысль-то верная на все времена: «аппараты» и ныне правят нами, от них во многом идет всеобщее наше беспамятство.

* * *

У автора книги жесткий взгляд на русского человека. В рассказах нет ни слащавых восторгов, ни бесосновательных оправданий; зато видно стремление понять любую, даже темную или жестокую душу. Верно понять и вместе с читателем подумать над человеческой судьбой. В рассказе «На пароходе» безымянного парня мучит совесть: родной дядя и брат убили его отца, а он присутствовал при этом злодействе и не помешал, потому что тоже был заинтересован в смерти родителя. Горький рисует терзания запутавшегося героя психологически тонко, беспристрастно:

«...парень надорванно говорил, болтая головою:

— Уснуть бы мне лет на десять! Все пытаю себя, не знаю — виноват али нет? Ночью вон этого человека ударил поленом... Иду, спит неприятный человек, дай, думаю, ударю — могу? Ударил! Виноват, значит? А? И обо всем думаю — могу али нет? Пропал я!..

Должно быть, окончательно истомившись, он перевалился с колен на корточки, потом лег на бок, схватил голову руками и сказал последние слова:

— Убили бы меня сразу...

Было тихо. Все стояли понурившись, молча, все стали как-то серее, мельче и похожи друг на друга. Было очень тяжело, как будто в грудь ударило большим и мягким — глыбой сырой, вязкой земли. Потом кто-то сказал смущенно, негромко и дружески:

— Мы, брат милой, тебе не судьи...

Кто-то тихонько добавил:

— Сами, может, не лучше...

— Пожалеть — можем, а судить — нет! Пожалеть тебя — это можно! А боле ничего...»

Горького часто обвиняли: воспекает босяков. По рассказам сборника, о котором мы говорим, как раз можно убедиться в обратном: в трезвом и осуждающем взгляде на любого празднующегося, ленивого, не приученного к ремеслу человека. Автору смолоду не нравятся сонные, угрюмые, безвольные люди, безделье и скука, которыми они обволакивают все вокруг. Душа его жаждет действия; он готов перевернуть жалкий мир пустого существования. Пожалуй, ни от одного писателя не услышал ленивый и сдавшийся нищете «простой» человек» такого приговора:

«Мелькают и еще темные безмолвные фигуры завсегдааев кладбища, людей, видимо, на всю жизнь связанных с ним крепкими цепями каких-то нержавеющей воспоминаний; ходят они, точно непогребенные мертвецы в поисках удобных могил, жизнь оттолкнула их, смерть — не берет».

Это — из рассказа «На кладбище». А в другой новелле, «Женщина», повествователь так говорит о бродягах, постоянно встречавшихся ему на дорогах Руси:

«У церковной ограды, за ветром, развалились по сухому рыжему бурьяну «иляющие за работой»; их десятка два, все это — «никудашный народ», мечтатели, ожидающие счастливого случая, доброй улыбки судьбы, или — лентяи, опьяненные широким простором богатой земли, пленники русской страсти к бродяжеству. Они ходят группами в два-три человека из станицы в станицу, именно «за работой», смотрят на нее, удивляются ее обилию, но работают только в крайней нужде, когда уже нет возможности утолить голод иными способами — попрошайничеством или воровством.

Завтра — Успеньев день, в богатой станице — праздник, и вот они собрались отовсюду, в надежде, что праздничный день напоит и накормит их досыта, без труда с их стороны».

Чувствуя деятельной юношеской душой эту низость людей, рассказчик выносит свои горькие оценки прямо, без обиняков — и все его обвинения воспринимаются не как какой-то внешний, навязанный суд, а как правдивое художественное осмысление русской жизни: *«Большинство людей, среди которых я иду по земле, — не то восходя, не то опускаясь куда-то, — серо, как пыль, мучительно поражает своей ненужностью. Не за что ухватиться в человеке, чтобы открыть его, заглянуть в глубину души, где живут еще незнакомые мне мысли, неслыханные мною слова. Хочется видеть всю жизнь красивой и гордой, хочется делать ее такою, а она все показывает острые углы, темные ямы, жалких, раздавленных, изолгавшихся. Хочется бросить во тьму чужой души маленькую искру своего огня, — бросишь, она бесследно исчезает в немой пустоте...»*

Мечта об иной жизни, о подлинном человеческом счастье — это, пожалуй, и есть сквозная тема книги «По Руси». Все повествование поворачивается сюда; все многочисленные герои со своими судьбами, жалобами на обманувшую жизнь, порывами изменить ее коварный, больной путь одержимы одной мечтой, и их разговоры, исповеди, заклинания сливаются в одну мольбу о другом, пока неведомом, но — они верят — возможном бытии.

Такою мечту особенно страстно, нетерпеливо и безудержно высказывает прежде всего сам рассказчик:

«Думалось о маленькой и грустной человеческой жизни, как о бессвязной игре пьяного на плохой гармонике, как о хорошей песне, обидно испорченной безголосым, глухим певцом. Стонет душа, нестерпимо хочется говорить кому-то речь, полную обиды за всех, жгучей любви ко всему на земле, — хочется говорить о красоте солнца, когда оно, обняв эту землю своими лучами, несет ее, любимую, в голубом пространстве, оплодотворяя и лаская. Хочется сказать людям какие-то слова, которые подняли бы головы им, и, сами собою, слагаются юношеские стихи...»

Вот и в рассказе «Женщина» его героиня, красивая двадцатипятилетняя рязанка Татьяна, мечтала поселиться с каким-нибудь добрым мужиком, будущим мужем, под Новым Афоном, завести хозяйство, и чтобы после к ним прилепились другие крестьянские семьи, и отстроилась деревня, и муж Татьяны стал бы старостой, — а вышло совсем по-русски: любовник, чахоточный поповский сын, вовлек ее в занятие фальшивомонетчиков, сам получил десять, а поделница — шесть лет каторги. И точно последний скорбный аккорд оборвавшейся вдруг струны, только что певшей о близком счастье и безобманной надежде на него, — последний абзац этого печального рассказа:

«...Память уныло считает десятки бесплодно и бессмысленно погибающих русских людей, и сердце угрюмо сжимается великой, неизбывной, на всю жизнь данной тоскою».

Провинциальный грамотей и неудачник Губин привлекает своей искренностью и открытостью, чисто русской чертой: все, что на душе, выложу даже перед случайным, незнакомым человеком. Слушая таких «неутайных» людей, мы постигаем наш национальный характер. Именно Губин дал автору повод высказать правдивое и честное

мнение о «густой массе обычных уездных людей», почти потерянных для жизни, и о выделявшихся из этой массы, способных, но тоже не состоявшихся, растерявших свой дар соотечественников. Что мешает тем и другим быть творцами? Горький избегает кудрявых похвал и необоснованной хулы; он раздумчиво и мудро беседует с читателями о наших изъянах:

«...Русь изобилует неудавшимися людьми, я уже немало встречал их, и они всегда, с таинственной силой магнита, притягивали к себе мое внимание. Они казались интереснее, лучше густой массы обычных уездных людей, которые живут для работы и ради еды, отталкивая от себя все, что может огорчить кусок хлеба, все, что мешает вырвать его из крепких рук ближнего. Угрюмо замкнутые, с одеревеневшим сердцем и со взглядом, всегда обращенным в прошлое, или фальшивые добродушные, нарочито болтливые и — будто бы — веселые, но холодные интуиции, серые люди, они поражали своей жестокостью, жадностью, волчьим отношением ко всему в жизни.

Было в них что-то непобедимо зимнее — казалось, что и весной и летом они живут для зимы, с ее теснотой в домах, с ее длинными ночами и холодом, который понуждает много есть. В плотной, скучной и жуткой массе этих зимних людей неудавшийся человек очень резко бросался в глаза: он — вдумчивей, живее, у него более острое зрение, он — умел заглянуть за скучные пределы обычного и привычного, у него емкая душа, и всегда она хочет быть полной. В нем есть стремление к простору, он любит светлое и сам как будто светится...

Да, светится, но чаще всего — обманчивым светом гнилушки: присмотревшись к нему, понимаешь — с досадой и горькой печалью, — что это лентяй, хвостун, человек мелкий, слабый, ослепленный самолюбием, искаженный завистью, а расстояние между словом и делом у него еще глубже и шире, чем у зимнего человека, который, хотя и медленно, как улитка, но все же ползет куда-то по земле, тогда как неудачник вертится на одном месте, точно бесплодная старая дева перед зеркалом...

Но все же чаще всего русский человек, шедший бок о бок с рассказчиком по родным дорогам, оказывался бывалым, битым и верченым, немало пережившим в жизни и немало сделавшим в ней. Бывший солдат, вернувшийся из Средней Азии, из некла «внутренней» войны (рассказ «В ущелье»), вероятно, имел право кричать на двух греков на железнодорожной станции в Армавире:

«— Вы — где живете? В России? Кто вас кормит? Россия, сказано, — матушка! А вы — что говорите?»

Потом он стоял рядом с толстым седым жандармом в медалях и уныло жаловался ему:

«— Все нас, земляк, ругают, а все лезут к нам, — греки эти, немцы, серба всякая! Живут, пьют-едят, а ругают! Ну — не досада?»

Не этот ли солдат, не другие ли спутники повествователя, если не в сегодняшней жизни, то во вчерашней, обустроивали и защищали ту землю, которая почему-то притягивала толпы иноязычных людей? Уже одно сознание какой-то магической привлекательности своей родины для соседних народов возвышало русского человека и радовало его, подвигало его к прощению нечестивых гостей.

Но, пожалуй, еще более важной, коренной особенностью нашего соотечественника не мог не отметить и не воспеть автор сборника «По Руси» — доброго расположения к другому человеку, счастью или горемыке, богатырю или немощному, ту чисто русскую черту, которая во взаимоотношениях людей не сразу и не броско выделяется, а затейливо прячется в разговоре и в деле, но жива — непобедима и вечна! Как озаряет она душу Татьяны из рассказа «Женщина»; эта русская молодница, кажется, и создана Богом для того, чтобы утешать, согревать и нянчить, как ребенка, того, кого она выберет спутником жизни:

«— Жалко глядеть, когда молодое зря пропадает, жалко силушки, кабы можно — взяла бы всех и поставила на хорошие места... — Плечи ее тряслись, она плакала и

главства, жалобно всхлипывая. — Вот ночью... как вспомнишь все, что видела, всех людей, — тошно, тошно... закричала бы на всю землю... а — что? Не знаю... нечего сказать...

Это мне было глубоко знакомо и понятно — мою душу тоже давил этот крик без слов... Мы долго молчим, потом она говорит тихонько:

— Вот — светает, а я — глаз не сомкнула, и — часто это со мной... Задумаюсь про все, задумаюсь... будто я одна на земле, и все надобно мне одной устроить по-новому-то.

— Недостойно себя живут люди, в безгласии и ничтожестве, в неисчислимых обидах нищеты и глупости, — говорю я, забываясь, и горячо исчисляю все виденное мною темное, постыдное, мучительное. — Гляди — ты с добром идешь к человеку, свободу свою, силу готова ему за дружбу отдать, а он этого не понимает, и — как его обвинить? Кто показывал ему доброе?

Она положила руку на плечо мне и смотрит прямо в глаза, немножко приоткрыв красивый рот.

— Ой, — слышу я, — это правда! Милый человек — верно: нет добру цены!..»

И в другом рассказе, «В ущелье», — не как повторение сказанного выше, а как новая волна того же чувства, которое охватывает и автора, и его героев в новых перипетиях жизни, на ее многоголосых и долгих путях:

«Мне вспомнилось, как однажды в Задонске, на монастырском дворе, вот такой же темной и жаркой ночью, сидя у стены длинного здания келий, я рассказывал послушникам разные истории, — вдруг из окна, над моей головой, кто-то сказал ласково и молодо:

— Благослови вас мать божия на доброе миру!»

Окно закрылось раньше, чем я успел увидеть, кто сказал эти слова, но там был хромой большезлазый монах... вероятно, это он пожелал добра людям: бывают такие минуты, когда всех людей чувствуешь как свое тело, а себя — сердцем всех людей».

В двенадцатых-семнадцатых годах двадцатого века, когда создавалась книга «По Руси», на Горького злорадно указывали: «Революционер, автор романа «Мать» отрекся от либеральных идей, присмирел, воспекает непротивление; смотрите, все его герои только страдают, жалеют себя и других и уже не покушаются «на основы», не призывают к борьбе».

Но писатель не может видеть, вопреки правде, в каждом человеке мятежника; большинство людей склонно к устройству жизни не на крови, а на разумных началах; вы только не терзайте душу человека, не ожесточайте ее. Она, сжимаясь, как пружина, под плетью несправедливости, когда-нибудь распрямится и ударит насильника. Поймите русского человека, как понял его писатель; посочувствуйте, к примеру, молодому телеграфисту с маленькой, затерянной в степи железнодорожной станции:

«Он был зол, дерзок, склонен к пессимизму, но где-то в глубине его души теплились тоска о лучшей жизни и нежное сострадание к людям.

— Как жалко всех! — вздыхал он иногда, ночью, во время дежурства, когда мы, прочитав какую-нибудь книгу, говорили о ней. — Как жалко людей!..

Это чувство он бесплодно тратил на уход за пьяными и больными, на примирение семейных ссор и на убедительные письма товарищам своим, телеграфистам линии. Одному он советовал жениться, другому — играть на скрипке, третьего уговаривал идти в колонию толстовцев. Когда я немножко смеялся над ним за это, он резко возразил:

— А что делать? Что можно делать в этой рыбьей жизни?!»

Писательский талант — это все же, прежде всего, человеческий талант доброты и чистоты. Каждая строка горьковской книги согрета этим талантом; в нем — колдовское обаяние всего сборника.

Образ рассказчика здесь очень определенный, словно бы подробно выписанный, всегда присутствующий рядом с героями и действующий вместе с ними как еще один главный персонаж. Читатель привыкает следить за тем, что сказал сам повествова-

тель и как он поступил в том или ином случае. Не прямая оценка героев и их поступков, а именно собственное поведение в жизни описываемых событий привлекает нас к нему, постоянному и вездесущему участнику историй.

Это дает право сказать, что все рассказы в книге «По Руси» связаны одним запоминающимся героем — их автором; эмоциональный, чувственный настрой каждой новеллы определяется этим персонажем.

Посмотрите, какое необычайное воздействие оказывает на нашу душу его знакомство с мальчиком-калекой из рассказа «Страсти-мордасти»:

«Он обаятельно улыбался такой чарующей улыбкой, что хотелось зареветь, закричать на весь город от невыносимой, жгучей жалости к нему. Его красивая головка покачивалась на тонкой шее, точно странной какой-то цветок, а глаза все более разгорались оживлением, притягивая меня с необоримой силой.

Слушая его детскую, но страшную болтовню, я на минуту забывал, где сижу, и вдруг снова видел тюремное окно, маленькое, забрызганное снаружи грязью, черное жерло печи, кучу пакли в углу, а у двери, на тряпье, желтое, как масло, тело женщины-матери.

А его отношение к матери ребенка, чудовищно безобразной, делает всю рассказанную историю потрясающей именно потому, что нам передаются и нами разделяются его переживания; тут, как на ладони, вся страдающая, плачущая его душа:

«Она посмотрела на сына, потом в окно, на небо и сказала негромко:

— А то — останьтесь. Я рожу-то, платком прикрою... Хочется мне за сына поблагодарить вас... Я — закроюсь, а?

Она говорила неотразимо по-человечьи, — так ласково, с таким хорошим чувством. И глаза ее — детские глаза на безобразном лице — улыбались улыбкой не нищей, а человека богатого, которому есть чем поблагодарить...

Я вышел на двор и в раздумье остановился, — из открытого окна подвала гнусаво и весело лилась на двор песня, мать баюкала сына, четко выговаривая странные слова:

*Придут Страсти-Мордасти,
Приведут с собой Напасту;
Приведут они Напасту,
Изорвут сердце на части!
Ой, беда, ой, беда!
Куда спрячемся, куда?*

Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь».

У Горького особое письмо — густое, терпкое, многоцветное; за каждой новеллой стоит жизнь — такая же пряная, густо замешенная, многоликая. Жизнь не придуманная, а перенесенная с натуры, еще трепещущая и не остывшая, не затвердевшая и не ставшая книжной. Писатель открыл ее особый образ — могучей, неостановимой, загрязненной неразумными людьми, но постоянно очищаемой природой и неустояющими работниками. «Едут...» называется один из рассказов сборника, и это слово может быть отнесено к сильным героям многих горьковских историй: они едут по широкой реке жизни на большом и крепком корабле:

«Паруса вздулись шарами, трещат на них заплаты, скрипят реи, туго натянутый такелаж струнно гудит, — все вокруг напряжено в стремительном полете, по небу тоже мчатся облака, между ними купается серебряное солнце; море и небо странно по-жхи друг на друга — небо тоже кипит...

Около грот-мачты, прислонясь к ней широкой спиной, сидит богатырь-парень, в белой холщовой рубахе, в синих персидских портах, безбородый, безусый; пухлые красные губы, голубые детские глаза, очень ясные, пьяные молодой радостью. На коленях его ног, широко раскинутых по палубе, легла такая же, как он — большая и грузная, — молодая баба-резальщица, с красным от ветра и солнца, шершавым, в малежах, лицом; брови у нее черные, густые и велики, точно крылья ласточки, глаза сонно прикрыты, голова утомленно запрокинута через ногу парня, а из складок красной, растянутой

кофты поднялись твердые, как из кости резанные груди, с девственными сосками и голубым узором жилок вокруг них.

Парень положил на левую ее грудь широкую, черную, как чугу́н, лапу длинной узловой руки, по локоть голой, и тяжело гладит добротное тело женщины, в другой руке у него жестяная кружка с густым вином, — лиловые капли вина падают на белую грудь его рубахи. Около них завистливо кружатся люди, придерживая срываемые ветром шапки, запахивая одежду, и жадными глазами ошупывают распластавшуюся женщину; через борта — то справа, то слева — заглядывают косматые зеленые волны, в пестром небе несутся облака, кричат ненасытные чайки, осеннее солнце точно пляшет по вспененной воде — то оденет ее синеватыми тенями, то зажжет на ней самоцветные камни».

Горький неизменно утверждал великую миссию человека на земле — облагораживать ее, оставляя после себя красоту. О чем бы ни рассказывал он — о любви к женщине, о будничном занятии человека: лечить людей, пахать поле, ловить рыбу, строить дом, — всегда важным для него было открыть поэзию чувства и поэзию труда. Простыми земными делами занимаются герои его рассказов, но какие особенные, возвышенные слова находит он, показывая их рабочую страсть, мастерство, земные таланты! Вот завершил человек земной путь; вероятно, он был незаметен в жизни; но рассказчик видел, какие богатые хлеба стоят в поле, за хатою покойника, и знает, что они — дело рук ушедшего из жизни. И с какой же правотой заключает автор: «*Возникает странный образ: по степи, пустынной и голой, ходит кругами, все шире охватывая землю, огромный, тысячерукий человек, и, следом за ним, оживает мертвая степь, покрываясь трепетными сочными злаками, и все растут на ней села, города, а он все дальше по краям идет, идет, неустанно сея живое, свое, человечье. Уважительно и ласково думается обо всех людях земли: все призваны таинственной силой, в них живущей, победить смерть, вечно и необоримо претворяя мертвое в живое, все идут смертными путями к бессмертию, поглощает людей сень смертная и — не может поглотить».*

* * *

Горьковские герои часто говорят о России. Это понятно: вдали от оставленных родных мест вспоминается мать и отчий угол. К тому же Кавказ, о котором повествуется во многих рассказах, — это для их героев не Россия, точнее, такая окраина России, где Русью почти не пахнет; и они грустно вспоминают коренную, срединную Россию. Герой рассказа «В ущелье», вихрастый казак Василий, спрашивает своего спутника, бывшего солдата: «А какой ты народ уважаешь?»

«— Уважаю я, — начал он внушительно, — русский народ, настоящий, который работает на трудной земле. А которые здесь — что такое? Здесь жить просто: и всякого злаку больше, и земля легкая, благодунная, — копнул ее — она и родит, на — бери! Здесь земля — баловница! Прямо сказать — девка земля: раз ее коснулся, и ребенок готов...»

Потом разговор переходит на женщин — бывший солдат, оказалось, расстался с женщиной, которую сватал и которая не пошла за него.

«— Это — бывает! — согласился Василий и, помолчав, добавил: — Это частенько бывает с хорошими людьми, в ком совесть жива. Кто себя ценит, он и людей ценит... У нас это — редко, чтобы умел человек себя ценить...»

— У кого — у нас?

— Да вот — в России...

— Не уважаешь ты, брат, Россию-то, видать... Что это ты? — спросил солдат странным тоном, как бы удивляясь и сожалея...»

Сам автор добавляет:

«Мне нравятся эти двое людей, в тихой беседе их все растет что-то славное, чело-

вечье. Суждения вихрастого человека о России возбуждают сложное чувство: хочется спорить с ним и хочется, чтоб он говорил о родине больше, яснее. Нравится мне этой ночью вся жизнь, — все, что я видел в ней, теперь повторно идет предо мною, точно кто-то рассказывает, утешая, знакомую сказку».

И, наконец, солдат, этот спокойный и рассудительный человек, сказал ключевые слова о России, продолжая спорить с казаком, уже отошедшим от табора:

«— Голова у него — дурная! — подмигивая вслед ему, забормотал солдат. — Прямо — не в порядке голова, я это сразу увидел. Слова эти его против России — к чему они? Про Россию, брат, нельзя говорить что хочешь, от своего ума. Кто ее знает, что есть Россия? Каждая губерния — своя душа. Это никому не известно, которая божья мать ближе богу — Смоленская али Казанская...»

Незадолго до того, как была создана книга «По Руси», Горький написал в одной из своих статей примечательные слова:

«В России каждый писатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление — понять, почувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе ее народа, об ее роли на земле.

Как человек, как личность писатель русский доселе стоял, освещенный ярким светом беззаветной и страстной любви к великому делу жизни, литературе, к усталому в труде народу, грустной своей земле. Это был честный боец, великомученик правды ради, богатырь в труде и дитя в отношении к людям, с душою прозрачной, как слеза, и яркой, как звезда бледных небес России... Сердце русского писателя было колоколом любви, и вещей и могучий звон его слышали все живые сердца страны...»

Таким писателем предстает перед нами и Максим Горький в своей книге «По Руси». В ней — великая неудовлетворенность судьбою родного народа, но и великое восхищение его силой и талантом. В обыденной жизни писатель безобманно видел «исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, не возбужденную историей, тяжелой и нудной, но талантливость всюду, на темном фоне фантастической русской жизни блестящую золотыми звездами». Да вот под рукой небольшая миниатюра из книги «Как сложили песню», — не доказательство ли светлых лучиков народного дара, таких неожиданных и таких щедрых и частых в глухих захолустьях? Могут ли сложить песню кухарка Устинья и горничная Машутка, две деревенские горемычницы, заброшенные судьбою из родных нищих весей в городок Арзамас? Какая там песня — обе сочинительницы и грамоты-то наскребли лишь на то, чтобы разобрать редкое корявое письмо от близких. Но есть такая тоска по родному уголку, что подскажет дивные слова. Словно с неба услышатся.

«— Родные, — грустно и сердито говорит Устинья, — а отойди от них на три версты — и нет тебя, и отломилась, как сучок! Я тоже, когда первый год в городе жила, неутошно тосковала. Будто не вся живешь — не вся вместе, — а половина души в деревне осталась, и все думается день-ночь: как там, что там?..»

И приказав Машутке подсказывать, Устинья запевает. Как чудесный венок, сплетают обе:

Эх, да белым днем, при ясном солнышке,
Светлой ноченькой, при месяце,
Беспокойно мне, девице молодой,
Все тоскою сердце мается.
Ой, да ни зимою вьюги лютые,
Ни весной ручьи веселые
Не доносят со родной стороны
Сердцу весточку утешную.
Жаворонок над полями поет,
Васильки-цветы в полях зацвели.
Поглядеть бы на родные-то поля!
Погулять бы с милым другом по лесам!..

В рассказе «Книга» Горький припомнил, как нашел в парке, среди мусора, брошенный кем-то фолиант и как подумал тогда, «что, может быть, это — хорошая, сердечно написанная книга и немало людей, читая ее, волновались, спорили, учились думать; может быть, кого-то она оплодотворила новой мыслью и многих, в холодные часы одиночества, согрела своим теплом». Сборник «По Руси» как раз из этого ряда. Его создатель отдал нам столько своего тепла, что его хватит на многих и на долгие века...

* * *

В отношении публики к писателям бывают парадоксы. Например, нередко читатель больше верит критикам, чем прямому слову самого писателя, его художественным воззрениям. С Горьким это происходит постоянно: пишут о его неискренности, резонерстве и прочих грехах, будто самих произведений не существует и читатель не сможет проверить суждений о нем. Не станем тревожить тени забытых теперь критиков, как и не будем спорить с нынешними хулителями его творчества, конъюнктурность оценок которых слишком очевидна.

Обратимся лишь к двум авторитетным авторам, писавшим о Горьком. Их резкие суждения и сегодня широко тиражируются. Поэт, критик, эссеист Владислав Ходасевич неплохо знал Горького, семь лет общался с ним, полтора года из них, по собственным подсчетам, прожил под одной крышей с Алексеем Максимовичем. В своих воспоминаниях он, человек с острым и критическим умом, не мог ограничиться внешними литературными событиями из жизни Горького, тем более бытовыми. Он попытался понять и раскрыть главное, существенное в творчестве великого писателя. «Горькому, — считал Ходасевич, — довелось жить в эпоху, когда «сон золотой» заключался в мечте о социальной революции как панацее от всех человеческих страданий. Он поддерживал эту мечту, он сделался ее глашатаем — не потому, что так уж глубоко верил в спасительность самой мечты.

В другую эпоху с такой же страстностью он отстаивал бы иные верования, иные надежды. Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошел возбудителем и укрепителем мечты, Лукою, лукавым странником. От раннего, написанного в 1893 году рассказа о возвышенном чиже, «который глал», и о дятле, низменном «любителе истины», вся его литературная, как и вся жизненная деятельность проникнута сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде. «Я искреннейше и непоколебимо ненавижу правду», — писал он Е.Д. Кусковой в 1929 году. Мне так и кажется, что я вижу, как он, со злым лицом, ошетилившись, со вздутой на шее жилой, выводит эти слова».

Чтобы мнение автора мемуаров было очерчено подробнее, приведу еще несколько его строк о Горьком:

«Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще — и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникла (а отчасти была им вычитана) мечта об иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получил полуреальный, полуобразжаемый тип благородного босняка, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой».

Добавим к тому, что вменялось Горькому выше: герои его — полуреальные, полувыведанные. Это написано в 1936 году, вскоре после смерти Алексея Максимовича. Неприязнь русских писателей-эмигрантов к нему, официально считавшемуся на родине главою советских литераторов, можно понять. Но все же упрощенно-недоброжелательное суждение о творчестве великого мастера в устах такого изощренного и

высокооумного знатока и ценителя словесности, как Ходасевич, звучит странно. «Мысленно очистил» русского человека (пусть и босяка) от дикости и грязи — и «получил полувоображаемый тип», который и поселил в своих книгах. В художественном творчестве любил ложь и не любил правду. Героям своих книг отдал собственные мысли, сами эти люди не могли думать ничего подобного... Сборник рассказов «По Руси», как и другие произведения писателя, опровергает такие нелепости. Горький в данном случае не нуждается в защите, но все же несколько его суждений, которые поясняют позицию классика, приведу:

«Искусство словесного творчества, искусство создания характеров и «типов», требует воображения, догадки, «выдумки». Описав одного знакомого ему лавочника, чиновника, рабочего, литератор сделает более или менее удачную фотографию именно одного человека, но это будет лишь фотография... и она почти ничего не даст для расширения, углубления нашего познания о человеке, о жизни... Широта наблюдений, богатство житейского опыта нередко вооружают художника силою, которая преодолевает его личное отношение к фактам, его субъективизм.

...слияние романтизма и реализма особенно характерно для нашей большой литературы, оно и придает ей ту оригинальность, ту силу, которая все более заметно и глубоко влияет на литературу всего мира».

Герои горьковских рассказов «Рождение человека», «Ледоход», «Женщина», «Книга», «Страсти-мордасти», несмотря на бесцветную, бедную, иногда пропащую и грязную жизнь, говорят своей судьбою и своим примером много поучительного. А разве не такие же люди несут миру правду со страниц других великих русских писателей? Разве не с этой стороны интересны нам «Капитанская дочка», «Шинель», «Бедные люди», «Хорь и Калиныч», «Смерть Ивана Ильича», «Душечка»?

Думаю, прямое отношение ко «лжи и правде» в литературе, которые, по мнению Ходасевича, будто бы путал Горький, имеют рассуждения Льва Толстого. С всегдашней прямою и мудрой определенностью, которые не позволяют толковать высказанную мысль вкось и вкривь, он написал в предисловии к одному сборнику:

«...правду знает не тот, кто глядит себе под ноги, а тот, кто знает по солнцу, куда ему идти... Для того же, чтобы показать этот путь, нельзя описывать только то, что бывает в мире. Мир лежит во зле и соблазнах... Чтобы была правда в том, что описываешь, надо писать не то, что есть, а то, что должно быть, описывать не правду того, что есть, а правду царствия божия, которое близится к нам, но которого еще нет».

Горький-художник как раз «знал по солнцу, куда ему идти», и он, и его герои неплохо представляли, в чем заключается правда жизни. Впрочем, об этом мы и пытались сказать в нашем очерке.

Второй оппонент писателя — Юлий Айхенвальд, плодовитый критик первой трети двадцатого века, которого В. Ходасевич упоминает в своих мемуарах, как объективного «ревизора» горьковского творчества. Айхенвальд оставил (в периодике) статьи об отдельных произведениях автора сборника «По Руси», но мы обратимся к его итоговому очерку о Горьком, опубликованному в книге критика «Силуэты русских писателей».

Очерк иначе как злобным не назовешь. Можно было, оторопев, задать себе риторический вопрос: да как же это Россия и весь мир вот уже век читают такого недостойного писателя? Но такого вопроса не задаешь, зная, что нечто похожее Айхенвальд говорил в своих «Силуэтах» и о некоторых других русских классиках.

Выпишу самое начало очерка, чтобы читатель представил, с каким запалом автор взял с места в карьер:

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот — в качестве рассказчика — высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как

у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний. Моралист и дидактик, он почти никогда не отдается беспечной волне свободных впечатлений; опутав себя и читателя слишком явными, белыми нитками своих намерений и планов, он поучает уму-разуму и от ненавистной для него, избобличаемой интеллигенции перенял как раз ее умственность, ее теневые стороны. Питая неодолимую антипатию к приват-доцентам и склоняя их к обнаженным ногам Вареньки Олесовой, он сам тем не менее — дурной и мелкий интеллигент, вдобавок еще с привитой впоследствии наклонностью к заграничному декадансу. Он не мог сбросить с себя даже той небольшой и недавней культуры, которую второпях на себя накинул. И в нем сказалось не то, что есть хорошего, а то, что есть дурного в типе самоучки. Колеблясь между природой и образованностью, он ушел от стихийного невежества и не пришел к истинному и спокойному знанию, и весь он представляет собою какой-то олицетворенный промежуток, и весь он поэтому, в общей совокупности своего литературного дела, рисуется нам как явление глубоко некультурное... Из его биографии видно, что, по духу своему, он не преимущественный питомец книги, — и все-таки он не одолел мертвящей книжности: это оказалось не под силу его ограниченному, его нещедрому дарованию...» Высокомерие и апломб пронизывают очерк от начала до конца.

Дорогой читатель, и этого «непобедимо скучного сочинителя», «обладателя небольшой культуры» высоко ценили как писателя корифея европейской литературы Ромен Роллан, Герберт Уэллс, Томас Манн, Стефан Цвейг и многие другие! Его появление в русской словесности приветствовали и дружески общались с ним Лев Толстой, Антон Чехов, Владимир Короленко!.. Конечно, они ничего не понимали ни в литературе, ни в творчестве Максима Горького, и только Юлий Айхенвальд разглядел подлинное лицо нашего классика.

Среди многих русских людей, описанных Горьким в книге «По Руси», есть крестьянин Яков из рассказа «Покойник» — над этим Яковом повествователь читал в каком-то глухом хуторе «молитвы и псалмы»; о земном же пути усопшего скупо поведала его вдова-старуха. Жизнь крестьянина ничем особенным не выделялась, но в рассказе бабуси, в самом конце, прозвучали запоминающиеся слова. Думаю, это мудрое народное правило:

«— Я тебе скажу, — пытаюсь выпрямить спину, говорит старуха, — был у моего человека между многих недругов один друг, Андрием звали, и когда не стало нам силы жить там, в дедовщине, на Донце, — заторкали, загрызли люди моего, аж до слез и немоты, — то пришел до нас Андрий и говорит: «Не опускать бы тебе, Яков, рук, земля — велика и везде дана человеку. Если здесь люди злы — это они от глупости и тесноты, и ты их за то не суди, живи просто: они — свое, а ты — свое! Тихо живи, а не уступай никому ничего и тогда одолеешь всех».

На этот бабусин рассказ живо откликнулась ее подруга:

«— Так и мой Василь говаривал часто: они — свое, а мы — свое...»

Сам Горький, пожалуй, так и поступал всю жизнь: недоброжелатели — свое, а он — свое. Он не был певцом босячества, как это утверждали они. Прийдя в детстве и юности черную школу жизни, которую не проходил ни один великий русский писатель, Горький хорошо знал цену страстной, неистовой мечты — изменить бытие, унижающее человека. В книге «По Руси» о ней говорят десятки людей, и эта многоголосая мольба, этот живой призыв, это настойчивое заклинание летят к нам через десятилетия. Они — свое, а мы — свое... Теперь уж речь не только о противостоянии писателя и его недругов; тут разговор шире — о тех, в ком жива русская душа, и о тех, кто хочет растоптать ее. «Не уступай никому ничего, — убеждает нас горьковский герой, — и тогда одолеешь всех». На том и будем стоять!